

МАДЛЕН РИВЗ

След, траектория, точка давления: как переосмыслить «региональные исследования»¹ в эпоху миграций²

Когда прошлым летом я работала в московских библиотеках и заночевала у Альбины, моей киргизской знакомой, рано утром меня разбудили звуки разговора. Надежно приклеившись к телефону, Альбина обсуждала со своим мужем какую-то «американку». Последние девять лет она почти безвыездно жила в Москве и работала по 60 часов в неделю на трех работах гинекологом в частных клиниках, в то время как ее муж находился в Бишкеке, присматривая за ремонтом новой квартиры в одной из новых городских так называемых «элитных» высоток, которую они купили на свои российские заработки.

Я задумалась, кто же была эта «американка», которую они обсуждали? Может быть, еще одна исследовательница? А может, Альбина нашла кого-то, чтобы улучшить свой английский? Но, судя по репликам Альбины, эта «американка» была слишком «пупырчатой» и «иззолоченной». Это явно было что-то неодушевленное.

Выбравшись из постели и заглянув туда, где Альбина слилась со своим смартфоном, я поняла, что Альбина и Кайрат говорили не о новой американской знакомой, а о марке обоев: они выбирали их для своей квартиры. С помощью «Вайбера», одного из тех мобильных приложений, которые становятся

Мадлен Ривз (Madeleine Reeves)

Университет Манчестера,
Великобритания
madeleiner Reeves@gmail.com

¹ “Area studies” и “regional studies” в английской традиции означают приблизительно то же, что по-русски называется «региональными исследованиями». Сложно подобрать русские эквиваленты, чтобы отразить различие между двумя названиями. «Ареальными исследованиями» по-русски называются исследования, основанные на идее культурных ареалов и связанные с изучением географического распространения лингвистических или культурных явлений, поэтому этот перевод не очень подходит для “area studies”, которые понимаются шире — как всестороннее изучение географического региона. Поэтому здесь “area studies” будет переводиться как «региональные исследования», а в случаях, когда важно противопоставление “area studies” и “regional studies”, в скобках будут указаны оригинальные названия [Прим. пер.].

² Пленарная лекция в Обществе изучения Центральной Евразии (CESS) 16 октября 2015 г.

неотъемлемой частью инфраструктуры транснационализма между Кыргызстаном и Россией, Кайрат и Альбина обсуждали деталь своего домашнего ремонта. Кайрат, будучи в Бишкеке на рынке, фотографировал и загружал онлайн образцы обоев, которые ему нравились. Альбина отвечала текстовыми сообщениями, при необходимости добавляя краткие телеграфные комментарии вслух. Вся их новая бишкекская квартира, вплоть до сантехники, напольного покрытия, краски и кухонных принадлежностей, прошла через это обсуждение в фотографиях, обмене сообщениями и бесплатных телефонных разговорах. Тем утром беседа продолжалась в таком же духе еще около 40 минут, пока не была достигнута окончательная договоренность о качестве бумаги и сочетаниях цветов.

С тех пор, как за несколько месяцев до этого Кайрат уехал в Бишкек, «Вайбер» служил постоянным фоном для жизни каждого из этих двоих. Альбина размышляла о том, как изменилось устройство ее связи с домом за то десятилетие, что она работает в России. Сначала у них не было никакой мобильной связи, ни с ее родителями, ни с родителями Кайрата; контакт удавалось поддерживать, только созваниваясь раз в две недели с родственником в Оше, который, в свою очередь, звонил их семьям в Баткенский район. Теперь Кайрат начинает нервничать, стоит Альбине несколько часов не выйти на связь.

* * *

Вот уже два десятилетия исследователи транснационализма изучают плотность связей, которые поддерживают транслोकальную близость в контексте затянувшихся миграций [Basch, Glick Schiller, Szanton Blanc 1994]. Повседневный опыт Кайрата и Альбины здесь не является чем-то исключительным: их жизнь включает привычные и неосознаваемые переключения между языками (в данном случае, русским и киргизским), валютами, часовыми поясами, административными правилами, паспортами и гендерными моделями поведения. Но если транснационализм подразумевает эмоциональную привязанность к обеим точкам на карте, то для Кайрата и Альбины Баткен остается домом и по моральным убеждениям, и в воображении (*morally and imaginatively*). Во время одной из наших продолжительных бесед, когда я только познакомилась с ним четыре года назад, Кайрат сказал мне: «Даже с российским паспортом мы все равно здесь *черные*». Москва, по крайней мере для Кайрата, никогда не была настоящим домом.

Я начала с этой небольшой зарисовки, чтобы прояснить, о чем бы я хотела поговорить в этом тексте, а именно, как мы могли бы переопределить региональные исследования (*area*

studies) в эпоху массовых миграций и медиализованного транснационализма. Миграция не оторвала Кайрата и Альбину от родины. Напротив, поразительно, до какой степени вложения их заработков артикулируют связи с разными точками Кыргызстана: с деревней родителей Кайрата, с Баткеном, где они собираются отдать в школу свою дочь, с Бишкеком, где доход от сдачи новенькой квартиры должен подстраховать их на случай продолжения кризиса рубля. Но их надежды и мечты, экономические стратегии, заработки и даже режимы коммуникативной близости невозможно отделить от того факта, что они живут одновременно в двух социальных полях на расстоянии 3 000 км. Что могут региональные исследования сказать об этом? Или о миллионах других биографических траекторий и способов добычи средств к существованию, что бросает вызов нашему методологическому регионализму?

Думаю, что вызов для региональных исследований здесь не только в том, что такие люди проживают свои жизни поверх границ конвенционального регионального деления мира. (Хотя, конечно, и это проблема: Скотт Леви красноречиво описывал, как научные руководители пытались отговорить его от изучения индийских торговцев в Центральной Азии, потому что такой проект «не вписывался» в конвенциональные рамки региональных исследований [Levi 2004].) В конце концов, региональные исследования уделяют много внимания миграции из перспективы сообществ-«отправителей» или «получателей» (бинарная оппозиция, которая до сих пор предполагает только одно возможное место происхождения или назначения).

Я бы предложила подумать о более фундаментальном вопросе — о том, как региональные исследования склонны представлять само пространство, и о влиянии, которое это оказывает на наши исследования и на то, какие вопросы мы задаем. Мне кажется, что региональные исследования часто оперируют несколько атеоретичным пониманием пространства как плоского, инертного, изоморфного, ограниченного, представляя его как двумерную платформу, на которой проходит общественная жизнь. На мой взгляд, это влияет и на те вопросы, которые мы ставим, и на нашу способность к диалогу с исследователями из других областей. Что, если мы попробуем, говоря словами Дорин Мэсси, рассматривать пространство как живое (*lively*)? Т.е. не как ровную статичную поверхность, где разворачивается действие, а как «сферу динамической одновременности, которая постоянно распадается под воздействием возникающих новых элементов и в любой момент может быть определена заново конфигурацией новых отношений» [Massey 2005: 107].

Другими словами, можем ли мы вообразить «региональные исследования», не привязываясь к категории «региона» в смысле двумерной евклидовой версии пространства как поверхности? И можем ли мы сделать это и в то же время сохранить позиции региональных исследований как таковых, т.е. отстоять ценность науки, внимательной к контексту, истории, языку, сложному институциональному наследию, альтернативным представлениям о ценности и специфике места? Я рискну предположить, что можем. И что, более того, подобный проект крайне важен перед лицом двух потоков в магистральном направлении социальных наук. Один из них, более количественный и склонный к прогнозированию, сводит «культуру», или «этничность», или «религиозную идентичность» к независимым переменным в формальной модели. А второй — это те самопровозглашенные критические течения (вариации на тему постструктурализма и теории глобализации), которые, утверждая, что вся планета находится во власти тотализирующих дискурсивных практик, пришедших с Запада, не замечают собственного европоцентризма.

Другими словами, у региональных исследований есть что сказать тем направлениям в господствующем течении социальных наук, которые часто считают себя оппозиционными, но сглаживают контекстуальные различия и локальную специфику.

Далее я хочу рассказать о нескольких способах по-новому понять «региональные исследования», чтобы «регион» (area) воспринимался как критический объект внимания, а не просто как рамочное приспособление (по аналогии с тем, как квинтеория творчески перерабатывает саму категорию странного (queer)). Я также предложу некоторые альтернативные пространственные и временные идиомы, которые могли бы способствовать такому пересмотру.

Но прежде я хочу обратить внимание на вопрос релевантности региональных исследований. Ведь мало кто удивился бы, узнав, что судьба региональных исследований, и центрально-азиатских исследований в частности, нередко зависит от направления геополитического ветра, а ветер этот сейчас отнюдь не благоприятен. Так было не всегда. Двенадцать лет назад в серии текстов о судьбе исследований Кавказа и Центральной Азии, заказанной для американского Совета по социальным исследованиям (SSRC), несколько выдающихся исследователей с робкой надеждой писали, что волна маргинализации Центральной Азии, похоже, идет на спад.

Стивен Хэнсон [Hanson 2004] заметил, что «шок событий 11 сентября явно приковал внимание правительства и науки снова к Кавказу и Центральной Азии, так что с таким трудом

полученное экспертное знание об этих регионах снова становится релевантным для господствующего направления социальных наук». Я помню конференции Общества изучения Центральной Евразии (CESS) в начале 2000-х, когда вокруг потенциальных исследователей Афганистана так и вились люди из правительства в лоснящихся костюмах, вооруженные бесконечным запасом визиток. Тогда казалось, что специалисты по Центральной Азии востребованы. Пусть даже не столько социальными науками, сколько правительством и военными, занятыми войной против террористов.

Сейчас, по прошествии десятилетия, тот момент оптимизма касательно наших возможностей повлиять на магистральное течение социальных наук кажется скорее минутной вспышкой. Эти десять лет стали горьким напоминанием о том, как возможности осмысленного международного академического диалога могут быть принесены в жертву соображениям безопасности. В 2013 г. «Статья 8» (Title VIII) правительственной грантовой программы США, которая поддерживала множество программ изучения языков и регионов, не получила от Государственного департамента США¹ никаких средств. Когда в 2015 г. эта программа была восстановлена, ее бюджет (1,5 млн долл.) оказался более чем в половину меньше, чем в 2012 г.

На этом фоне не удивительно, что прогнозы относительно перспектив этой области исследований нерадостны: Кеннет Яловиц и Мэтью Рожански в журнале «Национальный интерес»² писали о «медленном умирании российских и евразийских исследований» [Yalowitz, Rojansky 2014]. Сара Кендзиор назвала свою речь перед студентами программы исследований Центральной Евразии в Индиане эпитафией исследованиям Центральной Евразии [Kendzior 2015]. А Стивен Хэнсон, которого я уже цитировала, в президентском обращении 2014 г. к Ассоциации славянских, восточноевропейских и евразийских исследований заявил, что «региональные исследования» мертвы и что нам следует подыскать новый ярлык для описания того, что мы делаем и как мы работаем [Hanson 2015: 3]. (Хэнсон предлагает вместо региональных исследований (area studies) говорить о глобальных и региональных исследованиях (global and regional studies), я вернусь к этому позднее.)

Конечно, у нас множество причин беспокоиться о судьбе нашей научной области, и распределение средств американского Государственного департамента — пусть и значительный, но

¹ Министерство иностранных дел. [Прим. пер.]

² Американский журнал, посвященный вопросам международных отношений. [Прим. пер.]

лишь один из факторов. По отношению к тем регионам, где исследования лучше обеспечены и институциональной, и финансовой поддержкой, Центральная Евразия сохраняет маргинальное положение. Чтобы выучить языки, необходимые для работы, может потребоваться время, упорство, изобретательность и немалая доля везения, потому что университеты сокращают финансирование преподавания языков. А ведь чтобы пересчитать рабочие места, где требуются именно исследователи Центральной Евразии (скажем, политологи, антропологи, историки или социологи), вполне хватит пальцев одной руки. Я знаю социолога, которая пишет диссертацию в одном из университетов Лиги плюща. Ей прямо сказали, что «Кыргызстан не продается» и что если она хочет найти работу после защиты, ей лучше заняться сравнительными исследованиями с Китаем.

В ответ часто можно услышать, что нам не стоит беспокоиться или что маргинализация — это вовсе не так уж плохо. Что именно с периферии, где не работают большие теории, общепринятые периодизации или авторитетные ортодоксальные идеи, приходит интеллектуальная творческая энергия. В общем-то это, конечно, верно. И тому есть прекрасные примеры, скажем, из истории коллективизации или так называемой эпохи брежневского застоя (которая на значительных территориях Центральной Азии была вовсе не застойной). Но такие «неортодоксальные» исследования работают, только если у них есть аудитория. Если в лесу центральноазиатских исследований падает дерево, раздастся ли звук падения? Или, говоря о более насущном: если исследователей нашего региона и из нашего региона арестовывают, депортируют, отказывают в визах или (кажется, это происходит все чаще) не разрешают выступать на международных конференциях, публиковать совместные с западными учеными работы, каким образом эта самая интеллектуальная творческая энергия сможет устоять перед самоцензурой?

Эти проблемы и их влияние на нашу область широко обсуждаются, к примеру в комиссии по безопасности полевой работы Общества изучения Центральной Евразии (CESS). Но есть еще одна связанная с ними проблема, которая свидетельствует о состоянии здоровья региональных исследований, — проблема самого этого ярлыка. Как сказала Дайан Кункер, в американской (и шире — англоязычной) академической среде выражение «региональные исследования» стало ругательным: «Это пережиток холодной войны, который не решает никаких эпистемологических задач в нашем глобализованном мире» [Koenker 2014: 2]. Если те вызовы, с которыми мы сейчас сталкиваемся: изменения климата, деградация окружающей среды,

массовые миграции, неравный доступ к медицине и образованию, религиозные и секулярные фундаменталистские идеологии в разных облициях, цифровой милитаризм и надзор онлайн — носят трансрегиональный или глобальный характер, какой смысл в региональных исследованиях? Ведь такой подход к глобальному, казалось бы, по определению прикован к произвольно выделенным или заданным геополитикой регионам мира. Так что же, региональные исследования обречены на провинциализм и узость взгляда?

Моя дисциплина, антропология, похоже, нередко делает намеки, что ответ на этот вопрос должен быть утвердительным. Я часто слышу, как аспирантов призывают публиковать более перспективные научные статьи в специализированных антропологических журналах из первых строчек рейтингов, потому что так больше вероятность найти работу. В изданиях по региональным исследованиям можно складывать «всего лишь» эмпирические тексты. Иногда я слышу, как о ком-нибудь говорят, когда желают дистанцироваться или сказать гадость, но в то же время и отдать должное: «Да он скорее региональными исследованиями занимается», — подразумевая, что этот человек не «занимается теорией», не может перейти от частных на более абстрактный уровень обобщений.

Не будет ли «обновление региональных исследований» при этом чем-то вроде гальванизации трупа — столь же неприятно, печально и, в конечном счете, бесполезно? Я не уверена, но думаю, что попытаться стоит, и именно потому, что хорошо обоснованные и внимательные к нюансам публичные суждения о нашем регионе сейчас необходимы как никогда. Но если мы хотим доказать ценность того, что делаем, думаю, нам нужно подвергнуть критике саму категорию «региона» (area). Другими словами, нужно найти способ отделить региональные исследования от статичных, географически детерминированных и связанных территориальными границами прочтений культуры и политических процессов.

Я хочу сформулировать вопросы к трем аспектам «региона» (area) в региональных исследованиях (area studies). Во-первых, как способ мыслить о пространстве, «регион» (area), по сути, двумерен (словарное определение: «единица измерения поверхности или часть суши» [англ. “area” имеет значение ‘площадь’ как единица измерения, а также ‘территория’, ‘район’ и т.д. — *Пер.*]). «Регион» представляет пространство как поверхность, как изоморфное, статичное, как нейтральную плоскость для действия. Регион здесь — это сцена, на которой что-то происходит.

Возможно, мы и не вспоминаем об этом буквальном смысле “area” всякий раз, когда говорим об “area studies”, но я думаю,

что это нарезание земного шара на дискретные картографические пространства попутно приводит еще и к чему-то вроде уплощения. Поразительно, например, сколь многие визуальные репрезентации региона Центральной Евразии используют контурную политическую карту пяти постсоветских республик, чтобы показать, где мы работаем. Или как в каждом государстве Центральной Азии политическая карта страны без каких-либо внутренних делений и, как правило, повисшая в воздухе, вне какого-либо регионального контекста, становится символом государства как такового, наряду с флагом, гербом или портретом президента.

Эти карты выглядели бы совсем по-другому, если бы нишу нашей ментальной карты Центральной Евразии занимала топографическая карта, или карта плотности населения, или сетей рек и каналов, или пользователей твиттера. Но начиная с “area” — а не, скажем, плотности (населения или водных артерий), рельефа, времени в пути между двумя точками, мы привносим такое имплицитное прочтение “area”, которое ставит одни способы представлять пространство в привилегированное положение по отношению к другим (и, как указывают некоторые исследователи, описывает это место как необыкновенно опасное, фрагментированное или «конфликтотенное»).

Хочу немного остановиться на вопросе глубины и плоскости. Если нас не учили профессионально заглядывать под земную поверхность или смотреть в небо, мы редко задумываемся о материальных, трехмерных аспектах пространства. Как сказал в своей недавней статье географ Стюарт Элден, «все мы слишком часто воспринимаем географические пространства как плоскости (areas), а не объемы. Территории разграничиваются, делятся и размежевываются, но никто не обращает внимания на их высоту и глубину» [Elden 2013]. В своем анализе ситуации в Палестине Элден демонстрирует, как при взгляде на пути, которые враждующие государства прокладывают там через сети дорог (пропускающие одних и блокирующие доступ другим) и подземных тоннелей, необходимо учесть все три измерения, чтобы постичь динамику неравного распределения власти. Вслед за архитектором Эялем Вейцманом он утверждает, что геополитика — это «дискурс», который игнорирует вертикальные измерения власти, потому что «скорее окидывает территорию взглядом, чем проходит через нее. Это картографическое воображение, унаследованное от военных и политических стилей мышления о пространстве современного государства» [Elden 2013: 37].

Возможный способ пересобрать региональные исследования в Центральной Евразии в трех измерениях — это более при-

стальное и последовательное внимание к социальным и политическим импликациям этой конфигурации разнообразных материальностей. Речь не только об очевидных различиях между горами и равнинами и теми видами материальной политики, которые они предполагают, но и о том, как возможности, воображение, потенциал того, что может крыться в недрах, или в движении, или в атмосфере, формируют политику. Например, это могут быть перспективы добычи нефти, золота или тяжелых металлов. Или возможность обрести энергетическую самодостаточность с помощью гидравлической энергии. Или тревоги жизни в сейсмоопасной местности. Или формы мобилизации вокруг невидимого вреда, причиняемого загрязнением воды и воздуха. Пристальное внимание к тому, как подобная материальность влияет на общество, может, к примеру, помочь нам по-новому взглянуть на то, как мы судим о временах и пространствах маргинальности, или как «природа» становится основой для воображения чистой нации, или на отношения между онлайн- и офлайн-режимами насилия, или на динамику мобилизации протеста.

Позвольте мне привести пару примеров, чтобы пояснить свою мысль. В своем блестящем исследовании горного Тибета антрополог Мартин Саксер показывает, как деревни, которые нередко характеризуются как маргинальные по причине их географической удаленности от центров власти и близости к границам империи, на самом деле часто играют ключевую роль, будучи местами торговли и обмена. Нужно только сместить фокус — от границы как барьера к границе как гаранту процветания для тех горных деревень, которые оказались в точках ее перехода. «Смещение фокуса с границ на точки перехода (pathways), — пишет Саксер, — означает поворот взгляда на 90 градусов. Этот поворот (но не инверсия) перспективы позволяет разглядеть новые проблемные области: 1) отношения между переходами и прилегающими территориями и 2) взаимозависимость и соперничество между точками перехода вдоль границы» [Saxer n.d.].

Саксер обращает внимание на важность пространства для размышлений о маргинальности — категории, которая отсутствует во многих определениях «границ», построенных вокруг «приграничья» как места социального смешения. В совершенно другом контексте — на примере экологических протестов в Кыргызстане — Аманда Вуден показывает, как важно учитывать материальные свойства территории, когда речь идет о потенциале и политике возможной экологической катастрофы. Например, в случае «Кумтора» — золотодобывающей шахты, построенной на леднике (на сегодняшний день единственной

в мире), который угрожающе быстро тает, подогреваемый залежами отходов шахты.

Исследование Вуден релевантно и для второго аспекта нашего обновления региональных исследований. Ведь оно не только дерзко помещает материальное и социальное в одну и ту же аналитическую рамку, так что в фокусе внимания, наряду с человеческими передвижениями, оказываются движения и гор и ледников, и идей и образов, и законов и финансов. Оно также требует от нас критического взгляда на ограниченность наших региональных рамок (методологический регионализм) и на нашу склонность принимать «локальное» и «мировое» как два полюса аналитической шкалы (от малого к большому, от частного к общему). Исследование Вуден показывает, что функционирование кумторской шахты, протесты вокруг нее и проекты открытия рудников в других местах (в том числе, потенциальную возможность эксплуатации ледниковых шахт в Гренландии) невозможно понять, если с самого начала не включить в свою аналитическую рамку множество других «международных акторов». Другими словами, «регион» (*area*) невозможно свести к ограниченной территории: пространства локальных политик всегда связаны с другими пространствами соединительной тканью кипящей вокруг них жизни [Wooden 2015].

Но здесь есть еще один неожиданный поворот, связанный с локальной спецификой и контекстом. Понимание того, какой смысл «маргинальность» имеет для тех, кто пасет яков или торгует в горном Тибете, или как в сельском Кыргызстане тающий ледник вписывается в локальные космологии пространства и времени, а также понимание значений государственности, демократии или протеста, или, скажем, понимание смысла «оппозиции» для узбекской оппозиции в изгнании *тоже* приходит в результате того уровня погруженности в регион, языковой подготовки и тонкой чувствительности к контексту, который дает специализация по «региональным исследованиям». Например, исследование Вуден показывает, как наряду с такими факторами, как знание о глобальных движениях экологического протеста и мощь социальных медиа, на динамику локального протеста в Кыргызстане влияют устойчивые представления о ледниках как гарантиях стабильности общественной жизни, имеющих не только материальную и экономическую, но и духовную ценность.

Поэтому, на мой взгляд, было бы неверно говорить, что профессиональная подготовка может быть ориентирована либо на локальное погружение и всестороннее изучение, либо на международные масштабы и компаративность. Нам нужны региональные исследования, способные устоять перед лицом редук-

ционистского мышления, которое оперирует категориями масштаба и помещает «международное» на более высокий уровень иерархии по отношению к «локальному». Другими словами, нам нужна перспектива, которая признает связи между множеством «локальностей», будь то штаб-квартира Всемирного банка или киргизская деревня. Более того, нужно напомнить тем коллегам, которые изучают Северную Америку или Западную Европу и не чувствуют потребности оправдывать специфичность своих исследовательских полей, что они тоже занимаются исследованием «локального», а значит — региональными исследованиями. Просто их локальное редко признается таковым.

Региональные исследования, таким образом, можно критиковать за двумерный подход к пространству (плоскость, а не объем), за методологический регионализм и за усвоение видения мира, основанного на иерархии масштабов, где «локальное» оказывается на более низком уровне, чем «национальное», «региональное» или «международное». Но я думаю, что в региональных исследованиях есть кое-что, что может стать мишенью и для более фундаментальной критики. Это склонность и в теории, и на практике отдавать приоритет статике перед движением, или, по выражению Лиисы Малкки, седентаристская метафизика [Malkki 1992]. Попробую объяснить, что я имею в виду. Если мы нарезаем мир на стабильные географические территории и берем это деление за точку отсчета, мы исходим из статической онтологии. В этом случае мы можем задавать вопросы о том, как кто-то или что-то находится в движении, но нашим исходным концептуальным ориентиром остается пребывание «на месте». Такой взгляд на мир часто проступает в том языке, который мы используем для описания миграций: мы говорим о сообществах-отправителях и получателях, о тех, кто «находится в движении» и «остаётся на месте», об отъезде и возвращении. Если же мы изначально признаем, что люди и вещи, включая горы, ледники и тектонические плиты, постоянно находятся в движении, просто они движутся в разном темпе и в разные стороны (кто-то движется чрезвычайно медленно, едва различимо, а кто-то — с огромной скоростью, одни склонны к повторениям, другие — к инновациям), вся наша оптика окажется сдвинута. Дорин Мэсси [2005] называет эти движения гетерогенными траекториями (“heterogeneous trajectories”). В таком прочтении место — это не более чем временная стабилизация таких траекторий или точка, где линии повествования сходятся в настоящем, только чтобы снова продолжиться в разных направлениях в будущем. «Огромные различия между темпоральностями гетерогенных траекторий, которые сходятся в одном месте, крайне важны

для динамики и оценки мест, — пишет Мэсси. — Но, в конечном счете, нет никакого места (ground) в смысле стабильного местоположения <...>. Если мы не можем “вернуться назад” домой в том смысле, что дом успеет сдвинуться с той точки, где мы его оставили, то не можем мы и вернуться назад к природе, уезжая на выходные за город. Она ведь тоже движется» [Massey 2005: 137].

Чтобы этот подход не выглядел чересчур абстрактным или контринтуитивным, я на минутку остановлюсь, чтобы показать, как это движение входит в жизнь общества и становится его неотъемлемой составляющей. Например, можно вспомнить о том, что абсолютное большинство семей в некоторых частях Центральной Азии материально зависимы от возможности одного или нескольких членов семьи уезжать на сезонные работы в Россию. Или о том, что память о прошлых перемещениях, вынужденных или добровольных, в значительных частях региона составляет основу национального воображения. Или о том, что идеи «аутентичности» — культурной, духовной, эстетической — сами по себе формируются движением образов, фильмов, стилей, религиозных текстов, миссионеров, научной литературы и т.д. Но движение присутствует и в более заурядных повседневных практиках, на которых строятся жизненнообеспечение и родственные связи: это перемещения замужних женщин, детей — в школу и город, воды — между полями в ирригационной системе, молодых семей — на освоение новых земель, злаков — на рынок, нефти — по транснациональным трубопроводам, и т.д. Сама наша способность помыслить стабильную точку, которая «стоит на месте» (возможность иметь дом, место, куда можно вернуться, предсказуемость неизменных вещей: если я открою кран, из него польется вода, если я нажму выключатель, загорится свет), обусловлена возможностью и фактом движения — а также, конечно, сложной инфраструктурной сборкой труб, проводов и систем регуляции.

Я думаю, что это очень важно, потому что седентаристская метафизика в изобилии присутствует в мире вокруг нас. Это и попытки парламентариев ограничить международную мобильность незамужних женщин в Кыргызстане, и националистическая риторика, которая предполагает, что связи одной этнической группы с тем или иным местом более аутентичны, чем другой. Или, ближе к моему собственному дому, это панический дискурс о «захлестывающих потоках мигрантов», циркулирующий в публичном пространстве. Я думаю, что это имеет особое значение для региональных исследований и наших способов задавать вопросы. Позвольте мне снова проиллюстрировать свой тезис двумя примерами. Антрополог Магнус Марсен последние несколько лет неотступно следовал за аф-

ганскими торговцами в их передвижениях между товарными биржами в Китае и центрами розничной торговли в Москве, Киеве, Одессе, Дубае и нескольких городах постсоветской Центральной Азии. Многие из них (преимущественно мужчины) уже много лет живут в Пакистане в статусе беженцев. Мы, конечно, можем говорить, что эти люди «из Афганистана», но их языковые компетенции, торговые связи, хабитус, способность сняться с места, когда там становится невозможно работать, — все это необходимо рассматривать в контексте и исторического наследия трансрегиональных торговых сетей, и недавней истории войн и человеческих перемещений. Более того, если мы примем во внимание эти связи, мы можем заметить, что пространства, которые казались нам маргинальными (а Афганистан в региональных исследованиях часто считается во многих отношениях маргинальным: это не совсем Центральная Азия и не совсем Ближний Восток), на самом деле представляют собой узловые точки в сетях связей между сообществами. Как пишет об этом Марсден, «изучение таких трансрегиональных циркуляций показывает, что если рассматривать регионы как фиксированные географические категории, есть риск, что территории-посредники (такие как Афганистан) будут сведены к статусу маргинального “приграничья” [Green 2014]. В результате тот факт, что такие трансрегиональные области и их обитатели в прошлом и настоящем функционировали в качестве “коридоров связности”, соединяющих между собой очевидно разобщенные пространства, не получает достаточного признания» [Marsden 2015: 1].

Второй мой пример отсылает к работе Эмиля Насритдинова и его команды студентов-антропологов из Американского университета Центральной Азии. Эмиль с коллегами провели исследование среди работников-мигрантов из Кыргызстана в Казани и Санкт-Петербурге [Nasritdinov n.d.]. Среди прочего они хотели понять личные жизненные географии мигрантов и различия между ними в зависимости от города. В своем замечательном исследовании они обнаружили, что центральная позиция рынка в жизни и воображении торговцев-мигрантов, а также различия в точках пересечения жизненных географий мигрантов и местных жителей в двух городах приводят к противоположным пониманиям «риска» среди местного населения в Казани и Петербурге. Думаю, это яркая эмпирическая иллюстрация к призыву Дорин Мэсси видеть пространство как «живое» — не как изначальную данность, не как сцену для социального действия, но как хрупкий, одномоментный промежуточный итог «продолжающихся линий повествования».

А что же тогда с региональными исследованиями? Если региональные исследования действительно предпочитают плоское

редукционистское понимание пространства, которое рассматривает его как поверхность, ставит «международное» выше «локального» и отдает статике приоритет перед движением, может быть, стоит просто отказаться от них? Может быть, стоит последовать совету Стивена Хэнсона и найти какое-нибудь другое слово, которое не несло бы таких сильных ассоциаций с холодной войной и имело бы больший успех среди потенциальных студентов, озабоченных своим будущим трудоустройством? Возможно. Но простая смена названия может и не решить наших проблем, если при этом мы не задумаемся о нашем подходе к пространству и масштабу и об адекватном способе уделить должное внимание жизням, которые разворачиваются в *промежуточных* локусах. В частности, предложение заменить «региональные исследования» (area studies) на «глобальные и региональные исследования» (global and regional studies), на мой взгляд, несет риск выплеснуть ребенка вместе с водой, а может, даже и от воды не поможет избавиться. Потому что это название все равно предполагает, что есть региональное, а есть глобальное — два масштаба, маленький и большой, и на основе первого складывается второй. В то время как я выступаю за оптику, которая позволяла бы рассмотреть, как всё *локальное*, от мельчайших точек, затерянных в центральноазиатских ландшафтах, до коридоров Всемирного банка, является в то же самое время и глобальным. Точно так же, как места, которые кажутся средоточием «глобальных» сил, на самом деле тоже локальны, специфичны, сформированы конкретными историческими, геополитическими и экономическими конфигурациями. В этом смысле даже знаменитые «не-места» аэропортов, торговых центров и всего такого прочего пронизаны конкретными конфигурациями экономических и политических сил. Мы можем не замечать их и не распознавать как таковые, потому что большая часть этих так называемых «не-мест» (non-places) [Augé 2008] — истинные пространства капиталистического потребления.

Нам нужен, как мне кажется, не столько отказ от региональных исследований, сколько адаптация термина «регион» (“area”). И начать стоит с критического пересмотра пространственных метафор, которые организуют нашу область, и, возможно, с каких-нибудь свободных экспериментов с более «живыми» прочтениями пространства. Нам нужно сделать с «регионом» (“area”) то же, что квир-исследования делают со «странным» (queer), когда всесторонне изучают гетеронормативность, или что делают исследования белых¹, когда показы-

¹ White studies — американская междисциплинарная область исследований, сосредоточенная на выявлении скрытых привилегий белых в истории и актуальном настоящем и демонстрации их социальной сконструированности. [Прим. пер.]

вают привилегии людей с белой кожей, обращая внимание на их центральное положение и попутно выводя на свет его невидимость. Нам нужно показать, как производство пространства само по себе связано с артикуляцией власти и как наши пространственные метафоры (шелковых путей, ключевых точек, больших игр, «задних дворов» империи, ближних загранич и пр.) принимают участие в этом неравноправном структурировании.

Я бы хотела предложить три примера (из множества возможных) того, как можно было бы критически пересмотреть понятие «регион». Это отнюдь не исчерпывающий список, и все три подхода выросли из специфики моего собственного эмпирического исследования изменяющихся границ и транснациональной трудовой миграции между Центральной Азией и Россией. Есть и другие подобные метафоры. Например, Хизершоу и Кули предлагают по-новому взглянуть на пространства власти в Центральной Азии через призму офшоров [Heathershaw, Cooley 2015], а Натали Кох исследует изменения городского пространства в Казахстане с помощью категории «территориального воображаемого» [Koch 2013: 139].

Во-первых, я думаю, что мы должны быть внимательны к *следам*. След — это и пространственная, и временная метафора, которая отсылает, с одной стороны, к движению через ландшафт («мы следовали по тропе»), а с другой стороны — к тому, как прошлое продолжает влиять, населять, преследовать настоящее. Следы свидетельствуют о чем-то, что не может ни полностью исчезнуть, ни полноценно присутствовать в настоящем времени. Мы могли бы подумать о следах модернистских или имперских проектов прошлого, которые запечатлелись в ландшафтах Центральной Евразии — этих «свалках металлолома былых проектов будущего» (“junkyards of futures past”), как говорит де Генова [De Genova 1997]. Или о следах истории торговли, ушедших практик почитания мертвых и способов сакрализации ландшафта, которые можно различить в названиях пищи, материальных формах погребений или названиях деревень и священных мест. Совсем в другом контексте антрополог Майкл Тауссиг изучает колониальную историю индиго — красителя, который дает джинсам их синий цвет. История индиго неотделима от истории колониальной торговли, следы которой присутствуют в самом слове «индиго» [Taussig 2008: 4].

Что нам дает такой подход? Эта перспектива привлекает внимание к тому обстоятельству, что настоящее никогда не бывает полностью свободно от прошлого. Элис Стрит [Street 2012: 46] называет это «незапланированной историчностью места».

Фокус на следах позволяет нам вместо того, чтобы понимать пространство и суверенитет как прочно связанные с государством, думать о перекрывающихся географиях и гибридных суверенитетах и мыслить территорию скорее как палимпсест, чем как поверхность. Попробую проиллюстрировать свою мысль конкретным примером, на этот раз из моего собственного исследования. Актуальные пограничные споры между Кыргызстаном и Таджикистаном в Исфарской долине — это в значительной степени споры о недавнем прошлом, в частности об авторитетности паритетных комиссий прошлого, созданных ими карт и декретов, которые ратифицировали решения таких комиссий в одной советской республике, но не в соседней. Сейчас спор об определении границ в Исфарской долине — это спор исключительно о том, какие исторические моменты признавать авторитетными: Кыргызстан и Таджикистан опираются в своих притязаниях на разные карты и нормативные акты. Но когда закапываешься в историю современных приграничных конфликтов, поражает, как прошлое здесь буквально преследует настоящее. Это заметно, например, в том, как память о послевоенных обменах территориями, которые считаются незаконными, несправедливыми и безнравственными, влияет на локальные представления о «границе». Это заметно и в любопытных рефренах в формулировках документов паритетных комиссий послевоенного времени вплоть до 1980-х гг., которые подчеркивают необходимость исправить ошибки прошлого и говорят об угрозе конфликта в случае, если эти споры не получат разрешения [Reeves 2014: 82–86]. Короче говоря, нужно обращать внимание на то, что и у географии есть история: что за «границей» и «определением границ» здесь тянется шлейф из множества попыток перепорядочить пространство и памяти о том, что эти границы никогда не были стабильны. Без учета этой истории невозможно понять страсти и тревоги, которые кипят, например, вокруг строительства дорог или других инфраструктурных проектов в этом регионе.

Вторая идиома, которую, как мне кажется, мы могли бы продуктивно использовать для пересмотра «пространства», — это «траектория». Если «регион» (“area”) фокусирует наше внимание на стабильном пространстве, то «траектория» как раз отсылает к «незаконченным повествованиям» (stories so far), о которых пишет Дорин Мэсси [Massey 2005: 9]. Траектории привлекают наше внимание к движению и ограничениям, которые на него накладываются. На материале Центральной Евразии написаны ценные работы, в которых изучаются, например, траектории и маршруты трудовых мигрантов, торговцев, сотрудников организаций международного развития, религи-

озных миссионеров, студентов, ремесленников и ремесленниц, паломников. Сейчас в этом регионе ведутся прекрасные исследования, например, движения религиозного и других типов знания, сакральных объектов, форм сертификации, новых архитектурных стилей, законов (включая наиболее драконовские законы против свободы вероисповедания или так называемой пропаганды гомосексуализма) и религиозной одежды. Мне кажется, что у этих проектов, указывающих, в частности, на формы связности между Восточной, Центральной и Западной Азией, которые не умещаются в рамки традиционных региональных исследований, имеется критический потенциал для пересмотра этих рамок «снизу». Кроме того, это именно та литература, которая способна поколебать устойчивость категорий, разработанных в классических региональных исследованиях, поскольку она исследует, например, новые формы мусульманской социальности в контекстах транснациональной торговли; новые формы враждебности и гостеприимства, сопровождающие, скажем, растущее присутствие китайских торговцев или строителей в городах Центральной Азии; зарождающиеся режимы потребления, основанные на эстетике мусульманского благочестия, которая идет из Турции и Ближнего Востока; или новые формы организации онлайн, пересекающие границы государств и регионов (см., например, [Botoeva, Spector 2013; McBrien 2012; Saxer n.d.; Schröder, Stephan-Emmrich 2014]).

И наконец, я думаю, что нам нужно более гибкое и чуткое к историческим нюансам понимание государства и суверенитета. Это значит, что необходима более дифференцированная оценка того, как и когда определенные способы создания или изменения пространства начинают доминировать и исключать все прочие, когда и каким образом мы начинаем понимать, кто сейчас устанавливает правила, и как нам эмпирически и теоретически изучать пространства, где государство кажется несуществующим, не выполняет свои функции или не имеет суверенитета. Думаю, что для этого нам понадобится не столько география, основанная на пространственной смежности и изоморфизме (граница, демаркационная линия государственного суверенитета), сколько пространственное воображение, внимательное к точкам возникновения и интенсивности, конфликта и оспаривания — к тому, что в моем заголовке названо «точками давления». Например, в своем исследовании ботулизма в Грузии географ Элизабет Данн показывает, как осознание угрозы этой смертельно опасной болезни неотделимо от нарратива об уходе государства: по ее словам, ботулизм «отмечает места, где государство не справляется со своими задачами и где ему на смену не могут прийти дисциплинарные практики

неолиберализма». Грузинское государство дает повод усомниться в «двойных притязаниях государств на мифологичность и вездесущность» [Dunn 2008: 245]. Чтобы разгадать, раскрыть эти пространства интенсификации, дифференциации, соперничающих претензий на суверенитет или провалов государственной власти и ответить на вопросы о том, почему здесь случаются незаконные пересечения границы, а там — перестрелки, почему это место оказалось в центре национального воображения, а тот город пал жертвой талибов, или почему силы НАТО бомбили именно эту больницу, опять же, требуется кропотливая, упорная, хорошо обоснованная работа с эмпирическим материалом.

Такая работа уже ведется: примеры географических, антропологических, политологических и других исследований, которые я здесь привожу, демонстрируют изобилие вдумчивой критики этнотерриториального эссенциализма в нашей области. Но меня поражает, что эта критика, как правило, появляется не на страницах журналов по региональным исследованиям, а в специализированных дисциплинарных изданиях, и что эти темы не становятся поводом для меж- или кроссдисциплинарных диалогов. Еще более важно, на мой взгляд, что эти работы пока не привели к тому пересмотру региональных исследований, который, мне кажется, необходим, если мы хотим продемонстрировать свою способность двигаться в магистральном течении социальных наук, где региональные исследования уже считаются вымершим направлением. Раньше мы подчеркивали важность исследований Центральной Евразии, говоря о некоторой самоочевидной значимости региона или, еще хуже, отсылая к стратегическим или военным соображениям. По-моему, такие подходы несут риск воспроизводства той бинарной модели, в которой региональные исследования могут отстоять свою значимость, только предъявляя в качестве козыря свое внимание к локальным деталям. И тогда мы останемся во власти геополитических ветров, так что судьба нашей науки по-прежнему будет определяться тем, является ли наш регион стратегическим в глазах Государственного департамента США. Мне кажется, нам нужно стремиться к чему-то большему и двигаться в сторону переоценки «региона» (“area”) и выявления провинциализма, который столь многое определяет в науке, в том числе и в магистральном течении социальных наук. И здесь я смотрю в будущее с оптимизмом. Наша область невелика, открыта экспериментам и достаточно коллегиальна, так что мы можем обсуждать все эти темы, чтобы выработать адекватный ответ «региональных исследований» на концептуальные, эмпирические и политические вызовы нашего времени.

Библиография

- Augé M.* Non-Places. L.: Verso, 1998. 98 p.
- Basch L., Glick Schiller N., Szanton Blanc C.* Nations Unbound: Transnational Projects, Postcolonial Predicaments and Deterritorialized Nation-States. L.; N.Y.: Routledge, 1994. 344 p.
- Botoeva A., Spector R.* Sewing to Satisfaction: Craft-Based Entrepreneurs in Contemporary Kyrgyzstan // *Central Asian Survey*. 2013. Vol. 32. No. 4. P. 487–500.
- De Genova N.* The Junkyard of Futures Past // *Anthropology and Humanism*. 1997. Vol. 22. No. 2. P. 171–179.
- Dunn E.* Postsocialist Spores: Disease, Bodies, and the State in the Republic of Georgia // *American Ethnologist*. 2008. Vol. 35. No. 2. P. 243–258.
- Elden S.* Secure the Volume: Vertical Geopolitics and the Depth of Power // *Political Geography*. 2013. Vol. 34. P. 35–51.
- Green N.* Re-Thinking the “Middle East” After the Oceanic Turn // *Comparative Studies of South Asia, Africa and the Middle East*. 2014. Vol. 34. No. 3. P. 556–564.
- Hanson S.* Central Asia and the Caucasus in the Contemporary Social Sciences // *Social Science Research Council Items and Issues*. 2004. Vol. 5. No. 1–2. P. 20–21.
- Hanson S.* In Defense of Regional Studies in a Globalized World // *Association of Slavic, East European and Eurasian Studies Newsnet*. 2015. Vol. 55. No. 1. P. 1–5.
- Heathershaw J., Cooley A.* Offshore Central Asia: An Introduction // *Central Asian Survey*. 2015. Vol. 31. No. 1. P. 1–10.
- Kendzior S.* The Future of Central Eurasian Studies: A Eulogy. Keynote at the 22nd conference of the Association of Central Eurasian Students, Indiana University, March 22, 2015. <<http://sarahkendzior.com/2015/03/08/the-future-of-central-asian-studies-a-eulogy/>>.
- Koch N.* The “Heart” of Eurasia? Kazakhstan’s Centrally Located Capital City // *Central Asian Survey*. 2013. Vol. 32. No. 2. P. 134–147.
- Koenker D.* Revolutions: A Guided Tour // *Association of Slavic, East European and Eurasian Studies Newsnet*. 2014. Vol. 54. No. 1. P. 1–5.
- Levi S.* A Transregional Approach to Central Asia // *Social Science Research Council Items and Issues*. 2004. Vol. 5. No. 1–2. P. 27–28.
- Malkki L.* National Geographic: The Rooting of Peoples and the Territorialization of National Identity Among Scholars and Refugees // *Cultural Anthropology*. 1992. Vol. 7. No. 1. P. 24–44.
- Marsden M.* Crossing Eurasia: Trans-Regional Afghan Trading Networks in China and Beyond // *Central Asian Survey*. 2015 [Online first]. P. 1–15.
- Massey D.* For Space. L.: Sage, 2005. 232 p.
- McBrien J.* Watching *Clone*: Brazilian Soap Operas and Muslimness in Kyrgyzstan // *Material Religion*. 2012. Vol. 8. No. 3. P. 374–396.
- Nasritdinov E.* Only by Learning to Live Together Differently Can We Live Together at All. Readability and Legibility of Central Asian Migrants’

- Presence in Urban Russia // Schröder P. (ed.). Central Asian Survey. Special issue on Urban Spaces and Lifestyles in Central Asia and Beyond (forthcoming).
- Reeves M.* Border Work: Spatial Lives of the State in Rural Central Asia. Ithaca: Cornell University Press, 2014. 309 p.
- Saxer M.* Remote Pathways: The Non-Peripheries at the Edge of Nation States. Unpublished manuscript.
- Schröder P., Stephan-Emmrich M.* The Institutionalization of Mobility: Well-Being and Social Hierarchies in Central Asian Translocal Livelihoods // *Mobilities* [Online first]. 2014. P. 1–24.
- Street A.* Affective Infrastructure: Hospital Landscapes of Hope and Failure // *Space and Culture*. 2012. Vol. 15. No. 1. P. 44–56.
- Taussig M.* Redeeming Indigo // *Theory, Culture and Society*. 2005. Vol. 25. P. 1–18.
- Wooden A.* Moving Rocks and Glaciers, Shifting Resistance and Identities. Mining Developments and Discourses in Post-Soviet Kyrgyzstan (1998–2015). Paper presented to the workshop on Development and Modernization in the Soviet and Post-Soviet Periphery, University of Leiden, September 25–26, 2015.
- Yalowitz K., Rojansky M.* The Slow Death of Russian and Eurasian Studies // *The National Interest*. 2014, May 23. <<http://nationalinterest.org/feature/the-slow-death-russian-eurasian-studies-10516>>.

Пер. с англ. Александры Касаткиной

ИГОРЬ САВИН

1

Как кажется, региональное разделение исследовательского внимания и всех последующих институционализаций должно сохраниться, иначе все глобальные обобщения будут обрастать слишком объемными ссылками на те публикации или институты, где читатель может «потрогать» материал. Разумеется, необходимо также, чтобы с «региональными» сосуществовали и «проблемно ориентированные» исследования, которые будут исходить из признания допустимости каких-то региональных тенденций, а те и будут объектом анализа «компаративистов».

2

Любые границы — всегда вещь условная, конвенциональная, зависящая от ситуации возникновения данных конвенций и необходимости установления этих границ. Не являются исключением и границы Центральной Азии. Я уже не говорю о географиче-

Игорь Сергеевич Савин
Институт востоковедения РАН,
Москва
savigma@inbox.ru